



# РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Раздел посвящён теоретическому осмыслению истории и перспектив исследовательской деятельности учащихся, определению условий и механизмов, влияющих на её развитие как пути и способа образования.

И  
С  
Т  
О  
Р  
И  
Я

## Детям моим. Воспоминания прошлых лет\* (фрагмент)

р  
а  
з  
в  
и  
т  
и  
я:  
А  
р  
х  
и  
в

В нашем журнале мы публикуем фрагмент автобиографических воспоминаний **П. А. Флоренского**, написанных им между 1916 и 1926 годами и адресованных своим детям. В выбранном для публикации фрагменте с присущей для **П. А. Флоренского** яркой образностью и насыщенностью

**Флоренский Павел Александрович  
(1882–1937)**

П. А. Флоренский — выдающийся русский философ, богослов, ученый начала XX века. Родился 9 (21) января 1882 г. в Евлахе Елисаветпольской губернии. Учился на физико-математическом факультете Московского университета (с 1900). Уже в студенческие годы выдвинул ряд новаторских математических идей. В 1904 Флоренский поступил в Московскую духовную академию. После окончания академии и защиты магистерской диссертации был оставлен преподавателем. В 1911 г. Флоренский был рукоположен в сан священника. С 1914 г. он профессор академии на кафедре истории философии. С 1912 г. и вплоть до Февральской революции был редактором

\* Фрагмент главы «Пристань и бульвар (Батум)». Публикуется по: *Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых лет.* М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. С. 35–55.



**символизма описываются детские переживания, связанные с естественными для ребенка проявлениями познавательной потребности к окружающей действительности. Текст является собой образец рефлексии взрослого человека на захватывающую силу детского любопытства и потребность в радости познания окружающего мира, поиске смысла окружающих вещей и явлений.**

академического журнала «Богословский вестник». В сочинении «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи» разрабатывал учение о Софии (Премудрости Божией) как основе осмысленности и целостности мироздания. В работах 1920-х годов стремился к построению «конкретной метафизики» (исследования в области лингвистики и семиотики, искусствознания, философии культа и иконы, математики, экспериментальной и теоретической физики и др. В 1920-е годы деятельность П. А. Флоренского была связана с различными областями культурной, научной и хозяйственной жизни: участие в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, в организации Государственного исторического музея, научно-исследовательская работа в государственных научных учреждениях (им был сделан ряд серьезных научных открытий), преподавание во ВХУТЕМАСе (профессор с 1921 г.), редактирование «Технической энциклопедии» и многое другое. В 1933 г. он был арестован и осужден. С 1934 находился в лагере на Соловках, где был расстрелян 8 декабря 1937 г.

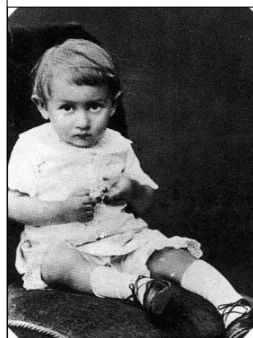
**Море.** Тоны около зелени, то голубоватые, то желтоватые, напитки меня в детстве через море. Свои детские и отроческие годы я провел в постоянном и ненасытном, и всегда ненасытимом, созерцании моря. Редкий день проходил без того, чтобы мы, дети, т.е. я с Люсей [младшей сестрой], побывали на берегу два, а то и три раза. И никогда море не наскучивало. Никогда впечатление от него не скользило по душе, всегда впивалось всем существом.

Мы шли утром, после чаю, захватив с собою на завтрак бутерброды с котлетами и сыром, а иногда еще и свежие или сушеные фрукты, каштаны, орехи или монпансье, желтые или зеленые, — опять какие-то переключки с теми, волнуемыми цветами. Няня или тетя Юля в несколько минут приводили нас на бульвар. Тогда, лет тридцать пять тому назад, море ещё было у первой аллеи бульвара; лишь впоследствии оно так отступило от насаждений — туй и кипарисов, — несмотря на почти каждодневное прибавление их, вдгонку за уходящим морем. Играли на песке аллеи или спускались по хрустящему гравию к самой воде. Гальки были гладкие, словно искусственно обточенные. Я знал от взрослых, что они действительно обточены морским прибоем, но верил этому наполовину: разве эти камушки не выросли в море как раковины или кораллы? Разве они не образования живых существ?

Копались в мелком гравии, у самой воды, разыскивая цветные прозрачные камушки - опалесцирующие голубо и фиолетово халцедоны, таинственно светившиеся по всей массе внутренним мерцанием, словно налитые светом. Ленточные агаты, тонкослоистые оранжевые и красные сердолики с белыми прослойками, изредка аметисты, жёлтые и зеленые кварциты, а иногда — прозрачные топазы, какие-то монпансье, что приносили мы с собою, и многие другие, — редкий день мы приходили домой, не нагруженные

добычей. Эти камни были похожи на художественно небрежные бусы ручной работы, рассыпавшиеся с подводного ожерелья; в моем сознании они роднились и почти непрерывно переходили в венецианские бусы, которые папа покупал нам в лавчонке на пристани. Таинственные наслоения сердоликов и агатов, их тончайшая слоистая структура настораживали мысль: я чувствовал тут какой-то сокровенный смысл природы, и, казалось, вот-вот он раскроется, объявится тайна. Иногда ходили на море с папой. Папа объяснял по поводу наших находок, что эти слои образовались от вековых осадений в подземных скважинах и пещерах. А я видел в этих слоях осевшие века, окаменелое время. Время никогда не мог я постигнуть как бесповоротно утекшее; всегда, насколько помню себя, жило во мне убеждение, что оно куда-то отходит, может быть, именно в эти самые скважины и пещеры стекает и там скрывается, засыпает; но когда-то и как-то к нему можно подойти вплотную — и оно тогда проснется и оживет. Прошлое — не прошло, но ощущение всегда стояло предо мною яснее ясного, а в раннейшем детстве еще более убедительно, нежели позже. Я ощущал вязкую реальность прошлого и рос с тем чувством, что на самом деле прикасаюсь к бывшему много веков тому назад и душою вхожу в него. То, что в истории действительно занимало меня — Египет, Греция, стояло отделенное от меня не временем, а лишь какую-то стеною, но сквозь эту стену я всем существом чувствовал, что оно и сейчас здесь. Слоистые камни представлялись прямым доказательством вечной действительности прошлого: вот они — слои времен — спят друг на друге, крепко прижавшись, в немом покое; напружусь я, и они заговорят со мною, — я уверен, — потекут ритмом времени, зашумят, как прибой веков. Впоследствии, едва и ли не по этому издетскому нежному чувству к слоистости я увлекся геологией — именно слоистыми образованиями, и приходил в дрожь и холодный восторг при виде четких геологических пластов. Ведь это буквально книга, как и книга — не есть ли осевшее время?

Занимали овальные плоские известняковые гальки, которыми набивали мы себе полные карманы. Иногда попадались такие гальки с естественною дырою; мы надевали странный камень на палку и восхищались им, отчасти суеверно преклонялись. Загадочное отверстие, с его гладкими, словно обсосанными, краями, манило ум и втягивало в себя всего. Отверстия вообще казались таинственными жилищами Неведомого и перекликались с вожденными пещерами, подземельями, погребями и темными чердаками, с ямами, канавами, туннелями и длинными коридорами; за всеми ими я признавал силы первичного мрака, в котором родилось все существующее, и мне хотелось проникнуть туда и навеки поселиться там. Но другие пустоты слишком опасны, чтобы позволить приближаться к себе безнаказанно; а эти, отверстия в камнях, светленькие, чистенькие, гладенькие, теплые на солнце, вполне по силе мне. И я совал туда палец и заглядывал в них тысячи



*П. А. Флоренский*



раз, все с тем же чувством их таинственности, которого не могли рассеять ни доступность этих отверстий, ни объяснения отца или тети. Уже взрослым я узнал о таких камнях, что они называются у крестьян «куричьими богами» и вешаются в курятниках как обереги кур от домового и всяких болезней. Как это ответило моим детским мыслям и как я узнал в этих «куричьих богах» свои таинственные гальки!

На берегу, при помощи палок, строили морские заливы или втыкали палки в песок и с тем же чувством тайны вглядывались в темную дыру, куда набиралась морская вода. Любо было видеть отжатый и посеревший песок словно набухающим и чернеющим от притока влаги. Иногда разгребали прибрежный гравий и находили слой мокрый, а ниже — поднимающуюся и опускающуюся, живую, дышащую там воду. Выкопать яму, хотя бы маленькую, всегда казалось родом магического действия: само существо ямы таинственно. Что же? — В яме живая вода. Все на воде и в воде, да и не простой, понятной воде питьевой, а в воде таинственной, горько-соленой, привлекательной и недоступной. В Батуме эта мысль о воде была особенно естественная, потому что Батум действительно весь в воде и на воде. Исследовали эту воду в ямках — сосали палец, омоченный в ней, — удивлялись ее горько-соленому вкусу. Совсем слезы. И не значит ли это, что и сам я — из той морской воды? Везде взаимные соответствия, за что ни возьмешься — все приводит опять и опять к морю.



*П. А. Флоренский*

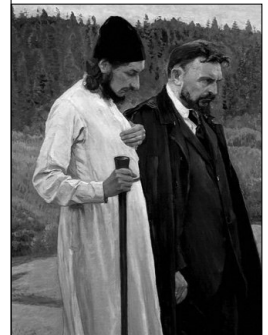
Ловили медуз палками. Красивые цветы с опалесцирующими чашечками, налитые светом, колыхались в воде, нежно обведенные фиолетовой каймой. Мы знали, что они жгутся, но это принималось как должное: к таинственному нельзя подходить безнаказанно. А вытащишь их — растают на теплых камнях в бесцветную слизь, и ничего не останется. Кто-то говорил нам, будто, если сушить медуз между листами пропускной бумаги, часто меняя их, все же останется красивая нежная сетка. Я не отрицал этого, но это казалось далекой сказкой, а ближайший опыт говорил попросту: медузы — порождения того же моря, та же вода и ничего более, и в воду потому расплываются. В земле — вода, во мне — вода, медузы — тоже вода... Различное по виду, однако едино по сущности.

Среди выбросов моря со всегдашним удивлением находили рогатые орехи чилим, почерневшие от пребывания в воде. Мы побаивались их, казалось несомненным их родство с морскими чертягами, и потому эти странные орехи мы старались не трогать руками, а когда подбирали, то — с опаскою и осторожно: кто его знает, что они на самом деле и как поведут себя. Бездна моря полна тайн и неожиданностей. Правда, взрослые говорят, что это — орехи, и взрослые, конечно, правы, но ведь взрослые вообще таинственной стороны всего окружающего не касаются, — не то что не замечают ее, не то, что скрывают от нас, наверно, чтобы не пугать

нас; ведь вот они никогда не говорят нам о таких заведомо существующих вещах, как черти, русалки, лешие, даже не говорят о милых эльфах. А мы-то, положительно не знаю откуда, как-то об этом обо всем давно проведали, несмотря на все поставленные воспитательные преграды. Так вот и чилим: они, т.е. взрослые, думают, что мы не будем спать по ночам, и потому нарочно говорят, будто это просто орехи. А может быть, это только кажется орехами? Почему же они такие черные? Почему они с рогами?

Нередко море дарило нас белыми трубками. Папа говорил, что это корни камыша и что месторождение их, вероятно, река Чорох, устье которого недалеко от Батума. Но и тут такому упрощению дела и верилось и не верилось. Слишком уж ясно все милому папе. Почему же эти «корни» такие белые и жирные словно черви? Почему они трубками? Что-то в объяснении взрослых не так слишком явна странность этих «корней». Белые и, они живые — и будет, а дальше уж не следует углубляться и разоблачать их тайну, раз они хотят быть в неизвестности. Они прикидывались корнями — ну и сделаем вид, что этому верим, но только сделаем вид, чтобы их не обидеть и не рассердить. И казалось несомненным: неспроста валяются они на берегу, а нам, именно нам, принесены Морем. Много еще других удовольствий доставляло оно нам — радовало нас, зная, что мы придем к нему и мы любим «сюрпризы», даже самое это слово. Осколки бутылочного стекла, обтертые прибором в ласковые матовые кусочки, нагретые на солнце; тоже ласково выглаженные движением волн палки и куски дерева, чистенькие, светлые, теплые; тоже приглаженные кочерыжки от початков кукурузы. Иногда, после бури, находилась на берегу какая-нибудь рыбка, водоросли или раковины — и радости тогда не было конца, я переполнялся волнением, сердце билось так сильно, что, казалось, готово выскочить. Помню, находили иногда, очень редко, морского конька, а мне попалась раз после очень сильной бури игла, которая потом много лет хранилась в моей коллекции редкостей. Оглядывая теперь вспять свое детство, я вижу исключительность батумского берега выбросами и отменную ничтожность наших находок; кроме камешков, действительно приятных, мы не находили ничего ценного и занятного. Но тогда эти находки радовали бесконечно, хотя я и был избалованным ребенком, радовали как дары великого синего моря, лично **мне** дары, знаки внимания, доверия и покровительства.

Оно жило пред нами своею жизнью, ежечасно меняло свой цвет, то покрывалось барашками или нахмуривалось, то, напротив, истомно покоилось, лениво, еле-еле плескаясь о берег. В **другом** месте находки наши ничего и не стоили бы; но тут, на морском берегу, это было **особенное**. Зелено-синие вдали и зелёно-желтые вблизи цвета, влекшие мою душу, и пленительно зазывавшие все существо с самых первых впечатлений детства, они собою **все** осмысливали и **все** украшали. Дары моря, как смычком, вели по душе



Картина  
Н. М. Нестерова  
«Философы»  
(П. А. Флоренский и  
С. Н. Булгаков)



и вызывали трепетное чувство — не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, — предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамариновых недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были загадочно разгадкой пещерного, явного мрака, родимые, родные до сжимания сердца. И деревяшки, обточенные морем, гладкие, теплые, как и теплые гладкие камни, все — солоноватое на вкус и все пахнущее чуть слышным йодистым запахом, — оно было мило сердцу, свое. Я **знал**: эти палки, эти камни, эти водоросли — ласковая весточка и ласковый подарок моего, материнского, что ли, зеленого полумрака. Я смотрел — и припоминал, нюхал — и тоже припоминал, лизал — опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может.

Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и ещё, все сильнее, все крепче; шум прибоя, состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий и никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубину, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивали внутренним мерцанием, тоже рассыпчатым и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная — все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ иной жизнотворческой глубины; и с тех пор душа и тело, тоскует по нему, ища и не находя вновь искомого — даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь принимаемом море.

**Того** моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видеть мне — разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, — в область ноуменов. Но этот ноумен **когда-то** воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, — ушло, а все-таки навеки со мною.

Но отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обнажится и приведет в трепет. Во флюоресцирующих веществах, особенно в яблочно-зеленом свечении кружковой трубки, я снова чуть-чуть вижу его, море моего детства; в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой тинктурой, обоняю то метафизическое море, как слышу его прибой в набегающих и отбегающих ритмах баховских фуг и прелюдий и в сухом звонком шуме размешиваемого жара. Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя



лицом к лицу перед родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью — из которой всё течет и в которую все возвращается.

Она звала меня, и я был с нею. В душе моей неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибоя, бесконечная самосветящаяся поверхность, в которой я различаю блески, всё более и более мелкие, до малейших частичек, но которая никогда не мажется. А тело мое просит морской солености, воздуха, соленого провеянного йодом, тоже рассыпчатого воздуха, несущего мельчайшие кристаллики соли, порою сладостно бывает прилечь хотя бы пузырьку с йодовой настойкой. Мучительно хочется именно морского вкуса, морской рыбы, омаров — томит голод по морской пище, кажется, попадись куча морских водорослей, я съел бы ее всю. А ведь «хочется» того, в чем потребность и чего не хватает организму. Мне-то и не хватает тех вкусовых и питательных веществ, которые, по эволюционистам, по Кентону, например, были первичными у жизни. Правда, я ничуть не верю эволюционистам; но, думается, сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а рассказывая себе сладостную сказку на основании морских впечатлений детства. Если бы ученики и последователи поняли, на чем, собственно, держатся теории их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы *jurare in verba magistri*<sup>1</sup>, но вместе с тем глубже постигли бы затаенную, детски — гениальную личность этих учителей.

И еще: в математике мне внутренне, почти физически, говорят родные ряды Фурье и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родные непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти — в свой черед — расчленяются ритмами третьего порядка, те — четвертого и т.д., как бы далеко ни пошли мы, ухо не слышит **последней** расчлененности, уже далее нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающийся сознанию, но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны — еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и потому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, мне опять вспомнилось ритмическое построение морского прибоя фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибоя слагается из шумов падения отдельных капель морской воды. Лейбниц уверяет, будто мы



1

Клясться словами учителя (лат.).



не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум до-ход до нас. Но это неправда, мы слышим их, еле слышим и паде-ние капли, и падение частей капли так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибора в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечна сыпучесть звука, всегда сыпучего, всегда четкого и су-хого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная по-верхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости, тончайшей зернисто-сти своего свечения. Ропот моря — оркестр бесконечного множе-ства инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержа-тельности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия. Это — узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, ког-да падают капли — тоже капли — в пещерах, сочитя со сводов и стен вода. И там — в ритмах — слышны еще и еще ритмы, и тоже бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанав-ливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И, когда войдешь в мастер-скую часовщика, то там опять слышен и глубь морскую.

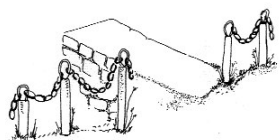


**Пристань.** По-другому, зазывнее, ближе, но таинственнее и притягательнее, втягивала эта глубь мое существо на пристани. Большие деревянные сваи и балки, вбитые в морское дно, словно иссечены таинственными иероглифами — выходами червей дре-воточцев. А я хорошо помнил, именно в таких отверстиях живут неведомые существа, бука, о чем мне как-то нянька, когда я весь ушел в рассматривание темного хода в балконном столбе, так и сказала: «Здесь живет бука», — в ответ на мои чересчур настой-чивые вопросы. Я отлично понимал, уже тогда понимал, что исти-ну откроет мне лишь простой человек и, узнав ее от няньки, сразу внутренне согласился, что это именно так, но, чтобы не входить в лишние разговоры, скрыл от родителей свое открытие и только многозначительно молчал, когда мне говорили о червях. Так тут, на пристани, этих бук было без числа, и притом уже не скрываю-щихся и написавших на сваях весьма таинственные письма. На этих сваях были настланы толстые доски, а между ними оста-вались широкие щели. Доски всегда чисты, как вообще всегда чи-сто всё, что имеет отношение к морскому делу. Всегда стирается с них омертвевший, сгнивший и дряблый слой, но кое-где проли-та смола, нефть, деготь. Пахнет дегтем, смолами, морем и разными экзотическими товарам, тюки которых сложены тут же. Рассыпав странные корни — марена, куркума, какие-то еще. В разных местах сложены целыми башнями — по тогдашней оценке — толстые-претолстые канаты, бодро пахнущие дегтем и смо-лою, — словно катушки великанов. Сквозь щели настилки видна под ногами темно-зелёная лоснящаяся вода, поверхность невоз-муцаемая, медлительно и лениво колыхаема маслянистая, и по ней — маслянистые, еле приметные движения, образующие крупную



скользящую сетку зеленых змеек. Что такое эти золотисто-зеленые змейки? Откуда они? Этот вопрос всегда держался в моей голове, и, Боже мой, сколько я о нем думал! Много раз я задавал его вслух, но получал недоумевающий ответ, что это только кажется, — от движения воды. Но ответ меня глубоко не удовлетворял. Я чувствовал, что не понят самый вопрос, что на мой вопрос недоумевают. А не понят потому, что не увидено то, что я видел. Я же видел змей, игравших на поверхности, переливавших изумрудом и хризолитом, чарующе прекрасных и ласковых, добрых ласковых змеек, которым хочется вступить в общение со мною. Я видел их, я чувствовал их и знал, что они — ласковые, добрые и красивые змейки. Мне хотелось лишь получить подтверждение своему, услышать в подробностях, узнать, как ближе сойтись с ними, как их потрогать, поцеловать их и с ними объясниться. А мне просто отрицали их существование, да и не их только, но и вообще существование чего бы то ни было особенного, что я видел в игре воды. И тогда я надолго запитал свой вопрос и то, что я видел, в себе самом. Потом, через некоторое время, я снова задавал его, но опять — то же непонимание. Нужный мне ответ о милых зеленых змейках и подтверждение своему знакомству с ними я услышал лишь значительно позже, уже студентом, от студента Ансельмуса в «Золотом горшке» Гофмана.

Тут, у пристани, вода была особенно таинственна. Прозрачная, насыщенно-зеленая, как огромный изумруд: и вся светила, напоенная светом, ядовитым и полным угрозы, но преисполненная и творческих сил. Медлительно по её маслянистой поверхности скользили лоснящиеся, еле видные волны, лениво ластясь к сваям пристани и к борту парохода. Раскинув свою чашечку и щупальца, в воде нежились большие и малые медузы. Медленно проплывали, колыхаясь и покачиваясь в изумрудной влаге, их опалесцирующие голубоватым светом тела. Проплывали стаи мелких рыбешек, и изредка виднелся в глуби силуэт рыбы побольше. Кое-где поверхность воды переливала радужными нефтяными пятнами. С парохода выносили тюки, из которых сыпались таинственные корни или семена; тащили клетки с попугаями, грозди бананов, кокосы, мешки американских треугольных орехов, земляных фисташек. Слышались всевозможные языки и говоры. На пристани можно было видеть людей самых различных национальностей — греки, турки, армяне, грузины, французы, англичане, бельгийцы, немцы, итальянцы и т.д. и т.д., даже негры, колония которых расположилась невдалеке от Батума, — кого тут не было! И все — в особых одеждах. Все было необычно, — все: и запах и звуки, и цвета — поддерживало одно другое возбуждая чувство таинственного. И главное всего много, много, много... Конца нет производительной мощи природы. И все это «много» приносится вот этой прозрачной, зеленой, флуоресцирующей поверхностью моря. В глубине его таятся



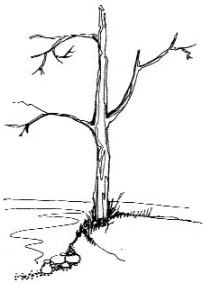


бесчисленные жизни, странные вместе прекрасные животные и растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моею личной жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признаёт в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизни.

Отец рассказывал нам о путешествиях по далеким странам и, кажется, сам увлекался картинами экзотической или далеко-северной природы. Рассказывала и тетя. Влажный, соленый и смолистый воздух вместе с манящими вдаль рассказами обращали все внимание, всю душу к пароходам и счастливым людям, плывущим по хребту моря в далекие страны, где высятся упругие пальмы, обремененные кокосами финиками; где раскачиваются на ветвях на обыкновенных деревьях красные и зелёные попугаи, и щелкают таинственные, трехгранные и темные, американские орехи, и говорят, конечно, по-русски, странные изречения, полные таинственного смысла; где порхают по огромным ярким и благоуханным цветам милые колибри; где жирафы тянутся своими шеями выше самых высоких деревьев, где растут гигантские раффлезии Арнольди и плавают на водах, как подушки, в полтора, два аршина поперечником пышные виктории регии, на которые мне так хотелось сесть и полежать. Широколистные бананы ломаются под тяжестью гроздьев. Пёстрые и таинственные орхидеи восседают, как птицы, на суках дерев, спуская свои корни, подобные белым жирным червям. Обезьянки лакомятся бананами и швыряют шкурки в неуклюжих слонов. Пряные и теплые дуновения меж густых лиан: это бесчисленные благовонные деревья — гвоздичные, кардамонные, иные, бадьяновые, — я считал, что бадьян дерево, — и вьющиеся плети ванили растворяются в воздухе и наполняют его своими запахами. Самое слово **ароматы** казалось таким полнозвучным и многозначительным. Огромные колючие кактусы цветут белыми и красными венчиками.

А все эти звуки и запахи — на фоне прибоя синего-синего моря, жемчужными волнами набегающего на золотые пески плоского берега. В море же цветут чудные кораллы, плавают диковинные рыбы, ползают чудовищные лангусты и крабы. Конечно, тут же, но несколько поодаль в тени сознания, как не очень-то приятное, — и киты, и кашалоты, и акулы, и в особенности рыба-молот, и рыба-пила, и нарвал. Тут, у нас в Батуме, все затаило в себе таинственную свою сущность; там же, в далеких заморских странах, она выступает в подавляющем блеске и величии.

И всё это бесконечное богатство красок, цветов, запахов, заставлявшее цепенеть мой ум и спиравшее дух волнением, — вся эта полнота производится морем. Весь этот заморский мир представлялся в моем воображении как бы выросшим, как бы поднявшимся из синего, глубокого синего моря, этот мир омывающего и его питающего.



Там, под лучами жгущего солнца, море откровеннее, там оно показывает свои приливы и отливы, увидеть которые хотелось мне почти до тошноты, до сердцебиения. Там по морю несутся водяные столбы — смерчи, там встают волны высокие, в пятиэтажные дома. Но ведь здесь — это то же самое море, но сокрывающее свои силы и свою жизнь в тайне своих волн.

Я прислушивался к волнам. Источно набегают, как вести далеких стран из неизвестности, волны — одна, другая, третья... Но потом неожиданно волна сильнее и, когда купаешься, — может сбить с ног. Потом — опять волны, ленивые, ластящиеся, несколько их, а то опять сильнее. Я спрашивал, почему волны не одинаковые. Мне **что-то** отвечали, что — не помню. Но я и без ответа знал, почему: когда кто раздражен и сдерживается, то говорит будто спокойно, но неожиданно напорет на какое-нибудь слово, и раздражение обнаружится. Так и море. Оно хочет скрыть свою мощь, но время от времени проговаривается сильной волной.

Лежа на прогретых солнцем гальке и гравии, я часами смотрел на море. Его бороздили полосы сине-стальные, поверхность его не была однородна. Отчего же эти полосы и пятна? Мгновенно менялся цвет моря, лишь только бегало на солнце малейшее облачко: море нахмуривалось, явно недовольное. На морской поверхности вспыхивали, как золотые рыбки, искорки — разве можно было усомниться, что в море что-то происходит значительное? Мне, на вопросы мои, старшие что-то объясняли, но эти объяснения шли мимо вопросов, и я даже не считал нужным их оспаривать: старшие так не любили меня и так мало, казалось мне, понимают истинный смысл моих вопросов. Всякий вопрос ведь уже предполагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое **направление ответа**. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос **о жизни Моря**.

Да, я видел, я ощущал, что море живет, и Жизнь его я принимал как первичный факт, не Нуждающийся в дальнейшем объяснении, — я Принимал ее наравне с самоощущением собственной моей жизни. Когда же я спрашивал «почему?» о змейках, о переменчивости цвета морской поверхности, о ломающемся Ритме прибоя, об обточенных морем палках и о множестве других подобных явлений, то я, во-первых, хотел получить подтверждение тому, что знал и сам в самой основе, — что море живёт, что оно живое и таинственное существо; мне хотелось от окружающих услышать то же, некое аминь своему опыту. А во-вторых, уже по общему признанию этого **факта**, я добивался подробностей о смысле **отдельных** явлений его жизни, о вспышках света, об улыбках и угрозах моря. Мне отвечали в том духе, что привлекающего меня явления, как живого, собственно **нет**: это явление взрослые делали чем-то случайным и внешним, зависящим от случая и внешних причин.

Всякий вопрос ведь уже предполагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое направление ответа. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос о жизни Моря.



Мне отвечали, что это «просто отражение света», «просто течение на поверхности», «просто волны» и т. д. Мне хотелось углубиться в жизнь моря, которая, повторяю, была для меня фактом; мною доискивались те тайные силы внутренней жизни, которыми производит данное явление. А взрослые вытаскивали явление на поверхность, говорили, что оно очень не просто внешне. «Мне лучше знать, что оно не просто, что не просто оно. В этом-то я не раз убежусь. А я прошу сказать, какое **место** занимает **это** не простое среди различных частных первичного факта, тоже не простого».

Переводя тогдашнее свои мысли на язык более поздний, а я знаю, что, верно передаю суть моих ощущений и смутных дум, я сказал бы примером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины улыбнулся, а сейчас вот нахмурился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ: «Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс», — примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о **смысле** явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то воспринимались мною и ответы взрослых о **смысле** тех или иных явлений в жизни Моря. Конечно, я оставался при своём и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесков и цветов морской поверхности. В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрерывно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо рассмотреть его поближе. Но оно не давалось в руки и на ладони оставались лишь какие-то внимательные воздушные пузыри. Пена, как и медузы, не поддавалась исследованию и могла существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обратятся в ничто, иные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их существовании. Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли сказать, они исчезают, вытасканные в сознание, как тают медузы и пена на воздухе. 